

аналитический ГОЛОВКОВ

ГАРДЕРОБЩИК

МОСКОВСКИЙ ДИСКУРС



Анатолий Головков Гардеробщик. Московский дискурс

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=53660273

ISBN 9785449862747

Аннотация

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. В юности четыре друга дали клятву верности тому главному, что их соединяло. И делало не просто московской компанией, но командой: литературе, живописи, свободе. Потом исчезла страна, где они родились. Стала стираться их прежняя Москва. XXI век прошелся по их судьбам, как дорожный каток. А в игре по новым правилам, в системе иных ценностей они испытали и гибель близких, и предательство, и разочарования... Книга содержит нецензурную брань.

Содержание

Часть первая

5

Конец ознакомительного фрагмента.

86

Гардеробщик Московский дискурс

Анатолий Головков

*В мире нет ни одного человека, говорящего
на моем языке;*

или короче: ни одного человека, говорящего;

или еще короче: ни одного человека.

Владимир Набоков. «Приглашение на казнь»

*«Тебя обидели, тебя сравнивали с говном. Поди,
Веничка, и напейся. Встань и поди напейся, как
сука». Так говорило мое прекрасное сердце.*

Венедикт Ерофеев. «Москва – Петушки»

*Служил он в гардеробе издательства
«Гослит» и был в литературе изрядно знаменит.*

Евгений Рейн. «Монастырь»

Корректор Елена Воронова

© Анатолий Головков, 2020

ISBN 978-5-4498-6274-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Часть первая

Бражники

1

Меня зовут неважно как, ей-богу, люди, сам иногда путаюсь. В школе прозвали Мольером: писал сценки для драмкружка, потом бросил. А все равно приклеилось, и пошло-поехало: и армия, и филфак, и служба – перекатывалось, как леденец во рту.

Я сижу на гранитном постаменте, задницу сводит от холода. Над головой юный Пушкин, моложе меня, держит под локоток бронзовую Наталью Николаевну. Они смотрят на дом, который когда-то арендовали и были счастливы. Точнее, на конюшню, дом правее.

А я смотрю на окна нашей квартиры: вот мое окно, балкончик, рядом окно соседки Тортиллы. Там всё теперь по-другому: стеклопакеты и прочее. Но березка из балкона всё еще торчит. Что с ней только не делали! Рубили, посыпали дустом, мочились на нее, нахлебавшись пива, на спор наряжали вместо елки.

Она выжила.

В мае Москва становится прибранной. При любых градоначальниках. Всё, что набросали за зиму в снег, убирают, чистят каналы и Язу. В мае находили тех, кто без вести пропал зимой.

Один из них, может быть, я?

Ладно, ну, не я. Он. И вот он: лежит, голубчик, на тротуаре. Куча служивых гадает, сравнивает, ищет мотивы.

Какие там мотивы? Выскочил голубчик за сигаретами или за выпивкой, которые заканчивались непредсказуемо. И вдруг пробило: а за каким хреном мне жизнь такая? Куда я бегу? Кто загнал меня в эту карусель: метро, служба, рюмочная, квартира, жадная до денег жена и бывшая любовница – шторы в павлинах и на торшере красная шаль?

Придут к тебе на именины или ты – на чьи-нибудь. И снова кислый оливье, бурое вино, все эти «не будите ребенка», «закройте форточку», «где пипетка?», «наденьте тапочки», «премию зажали».

На лице осень, складки у рта, круги под глазами. А по паспорту, милый брат, годы твоей жизни в этой навязанной кем-то нише, которую превратили в нужник.

Голубчик понимает, что ему больше незачем и некуда идти. Он садится на скамейку, отпивает из бутылки, за которой его послали. Закуривает – и отблески спички гуляют по скулам и волчьим зрачкам...

А дальше? Кто заплачет в оливах, среди камней и травы?

Кто тебя вспомнит на берегу, тупо глядя, как волны качают жестянки от колы, разовые стаканчики и окурки? Или помянет на боевом посту с карабином за плечами, грея пальцы в карманах о собственные яйца?

Кто заплачет по тебе?

И кто заплачет по себе в этой Москве, которая то замерзает, то оттаивает?

Как засыпаем и мы сами в детских слезах. И медленно падаем в Обводный канал...

У меня есть минут пять на бутерброд с пивом, потом бежать на работу. Куда? Ой, секрет!

А пока я сижу на улице Арбат. И всё смотрю, смотрю, будто окаменев, смотрю на бывшее свое окно.

Там я снова держу за ноги голую Гешку, как много лет назад. А она, раскрыв створки, орет на весь Арбат:

– Эй, просыпайтесь, ублюдки, у меня новость! Я Мольера люблю! Мольер, а ты меня любишь? Давай, высунись тоже, покажи им кой-чего!

В таких случаях запасник Касатонов выходил на балкон в одних труселях, чесал затылок.

Полковник тоже любил Мольера в начале мая. Он ему иногда пиво выставлял. Но теперь полковник просил, чтобы Гешка заткнулась, иначе позвонит ментам. И ушлют ее за сто первый километр. Где таким самое место. Они перед

Олимпиадой нашу Родину на весь мир позорили. Из-за них нам бывало даже перед неграми неудобно! И вообще, кому нужны шалавы?

Гешка сказала полковнику хищный язычок и хлопала себя по ягодице: обломись, мужик, я солдатам нравлюсь!

Да уж, меня зовут неважно как, вблизи и вдали, во все времена, аминь.

И где вы меня видели, тоже неважно. И как обо мне помните. Потом разберемся. Кому нужен такой персонаж – с проседью в кудрях, сатир в клубном пиджаке с золотыми пуговицами?

Не помните? И не надо.

Только не лезьте с расспросами, не попрекайте залысинами. Не тыкайте пальцем в грудь, не говорите, каким я мог бы быть красавцем, если б не курево и выпивка.

Какой там телевизор мог меня прославить.

Какие уроды могли бы меня раскрутить.

На каких Гавайях я мог бы валяться.

И какие у меня могли быть отличные планы.

Про каких маньяков пытался бы я продавать истории. Про каких драконов, и упырей, да их волшебные мечи. Про каких демонов, принцесс с декольте и карликов с длинным членом.

А может, жаль, что не сочинил и не продал? Тогда, наверное, не позволил бы себе так глупо упустить комнату родителей на Арбате.

Я любил свет арбатских дворов, особенно у Смоленки; он там желтоватый, кремовый; слышно каждое слово из окон, звуки клавиш. Их вечное: «не выучил этюд», «скажу матери», «не пойдешь в кино». Эти разговорцы насчет рыбы для кошки, справочной по аптекам. И нужен инсулин, и нужны кислородные подушки, шприцы; позвони маме, предупреди папу, сходи к бабушке.

Зажмурься, чувак, – в других временах, в ином лохматом году с челкой и пробором, ты всё еще стоишь, прижавшись спиной к тополю, – кто их только здесь насажал, какое дурачье: летом, получается, у всех рыльце в пуху.

Тогда у тебя в портфеле водилось болгарское сухое, вечно без штопора. Ломался, не выдерживал испытаний. Ну и лупишь ладонью по дну бутылки, рискуя порезаться, а когда пробка высунется, можно ее ухватить зубами. На Смоленке ты выпиваешь полбутылки большими глотками, задыхаясь и охая. Оскомина, язык щекочет, будто наелся терновых ягод от терновника самого Иисуса.

Теплая волна охватывает поясницу, в голове поселяется бесстрашие. И свет из подворотни уже не просто желтый. Из-за него меняется пространство. Выйдешь из дому и не узнаешь ничего. Где булочная и овощной? Где милиционер на уг-

лу, девочка с куклой у аптеки?

И еще продавщицы мороженого.

Где театральные старухи с артритными ногами?

Где киоскер дядя Миша Перельман, который всегда оставлял тебе «Советский спорт»? Будто бы он уже уехал и умер от осколков в Газе.

Эй, ну, в конце концов! Где вы все, мать же моя женщина?! Не надо уж так сразу бросать меня одного!

Они молчат, как в музее восковых фигур, и только Маруся, сторож мусорки, шевелит хвостом и ушами, глядит в глаза. Будто желает спросить: ну что, Мольер, страшно? А чего ты удивляешься? Кто пил, бранился и скандалил? Кто орал на прохожих, что они никчемные людишки и пусть катятся? Вот они и укатились. Только я, собака, осталась. Но ты, козлина, и про меня забыл. Всё профукал. А теперь тут, может быть, вообще не Арбат, и не Москва, и не Земля, а Марс.

Ты приглядиись. В арбатских переулках воробьи препираются с голубями, а голуби с воронами, и все считают себя местными.

Вороны, думаем мы с собакой, расплодились в Ваганьково и оттуда уж примахали на Арбат.

Ах, Арбат, мой Арбат, сколько же у тебя тут ворон!

Жесть и тьма.

Но главное – не увлекаться. Не дать пронюхать крылатым тварям, что понимаешь их тексты. И пусть себе топчутся на крышке канализации, потому что иначе примутся за тебя.

На Ваганьково их завез птенцами начальник кладбища Корзон.

Но когда миновала очумелая радость, что стало меньше крыс, вороны принялись гадить на всё: на спины людей, на гробы, на инвентарь, на траурные грузовики и автобусы. Персонал замучился отдирать помет от значительных могил.

Корзон попрекал землекопов: жалуетесь на больную спину, отлыниваете от работы, а сами, вон, кушаете водку, как мамонты. Старый Давид попрекал их, сколько мог, пока сам не помер.

Правда, это было тоже давно?

Давненько, да, но в таких делах важнее славное наследие!

Если с портвейном и сырком плавленным «Дружба» пройти между оград, поверх покойников, вороны тебя приметят. А твой сырок в кармане унюхают не хуже собак. Чтобы они не нагадили на голову, можно показать птицам кукиш. Или гаркнуть, чтоб охватила оторопь: «Эй, вы, драные вонючки, пошли вон!».

Может быть, запросят разрешения на взлет.

– А что ты здесь забыл, Мольер?

– Как это, барышни вороны? Сбрендили? Имею же я право знать, что у меня будет за могила, когда ласты склеятся?

– Стоп! Только не говори, что писатель.

– Я и не говорю, ешка-матрешка. Я нынче при писателях гардеробщиком! Да еще фырс-мурс, неустанный потребитель портвейна с сырком.

– Охо-хо! – разбушуются вороны. – То есть тьфу, мать твою! Кар-кар! Нам сверху видно всё, ты так и знай, Мольер! Писателей хватает. Но иной год хоронили одних философов. Поверишь ли? Будто сговорились. Весь год одни философы лежали в разноцветных гробах.

До этого мора для философов успели выпустить брошюру о новых обрядах трудового народа. Там есть типовая могила усопшего мыслителя: изгородь, куст сирени – 1 штука, (либо акации – 1 штука), камень из бетона марки 200, надпись: такой-то.

3

А в коммуналку добрые соседи, видать, уже вернулись с работы, помолились Аллаху и захотели ужинать.

Значит, с полвосьмого до полдевятого на кухню не пробьешься. Плита занята. Почти на всех конфорках у господ дворников шипят сковороды и булькает казан. И пока тетушка-дворничиха не закончит с пловом, не перемоеет посуду, лучше не соваться. К тому же запах, как на задворках чайханы.

Поэтому торопиться некуда. Портфель с оторванной руч-

кой под мышку – и в гастроном!

А вот и винный отдел, привет, родимый! Придешь с гитаренкой под закрытие, споешь Зое про клен ты мой опавший, всплакнет, получишь бутылку в долг.

К женщинам, вообще, стоит иногда прислушиваться. А к женщинам из винных отделов – бесспорно! У них чуйка покрепче, чем у бывшей колли Маруси. И после открытия магазина тебе нежно советуют:

– Игорь, тебе же одной бывает мало? Не мучай себя, сынок, возьми две, чтобы не бегать.

– Почему, Зоя Игнатьевна?

– Ну, смешной! По кочану, извини. Полшестого пойдут мидовцы. Они тебе не ровня, им коньяк подавай, кубинский ром. Но еще до этого завалят студенты! И что я должна делать? Держать твое бухло под прилавком? А если проверка? Есть в плетенках по полтора литра, тебе одному не одолеть. И у тебя не хватает полтинника. Поэтому ни «Рубина», ни «Поморки». Кушай портвейн.

– Суров батька бывает в похмелье.

– Но не учи мамку рожать. Твой полтинник в «Елисее» никого бы не разжалобил. А я уступлю. По знакомству. И оттого, что кудряв. И что не красишься, как педик.

У портвейна «Кавказ» пробка из полиэтилена, гнется, как первые советские капроновые расчески. Надрезаешь ножом,

а потом – хватать зубами, и готово.

Капроновые расчески порадовали нашего человека в начале шестидесятых, после реформы денег. Они возникли в галантерее заодно с металлическими кошельками на пружинках для монет.

Всю мелочь продавщице счастья из карманов выгреб. Даже двушки для автомата. Поэтому на закуску ноль целых хрен десятых рубля.

Зоя вздыхает, несет пряного «Бородинского», хвосты колбасные с веревочкой на конце. Никто хвосты не берет, а ведь там еще на пару пальцев закуси.

Вот почему мы с собакой родня: именно из-за колбасных хвостов с веревочками.

– По гроб жизни, Зой Игнатьевна! Скока с меня?

– Ладно, вали, Игорек, только много не пей, а обрезки дарю. Считай, от щедрот нашего гастронома.

По-хорошему, надо бы с Зоенькой переспать. Да-да-да! Мольер давно смотрит на эти мятежные груди, на завиток у шеи под белой шапочкой, на круглый – у Зоеньки он, как у Афродиты, – живот. А бедра? На такие бедра можно пятками вставать, с таких бедер можно отталкиваться нырять в греховные воды бассейна «Москва».

А получается, ты, Мольер, неблагодарная свинья.

Притом свинья, готовая доверчивой женщине солгать, будто не уверен, что получится. А виноват вовсе не ты

и не уролог Каганович с улицы Кирова, у которого заведены карточки на всех центральных проститутках. А винная промышленность Кавказа, а также братской Болгарии.

Именно поэтому Болгария не бывает не братской.

Стыдись, сукин сын! Без любви ты не хочешь? Но звала ведь тебя Зоенька не раз! Намекала придурку: дочка у бабушки, муж в Смоленске. Холодильник скоро треснет от окорока и горошка. А еще на балконе банки всяческие. Лечо там всякие, сосиски в желе венгерские. Говорит, наготовишь себе одна. А как выйдешь на балкон, глянешь на все это долбаное Беляево. На серый лес. И такая тоска берет, едрена лисица!

Взаимообразно она тебя, Мольер, накормила бы и напоила так, что неделю в животе урчало и булькало. Сама отвела в ванную, намылила бы холку и срамные места, потеряла спину благодарно. Потом укрыла бы немалым бюстом твою солдатскую грудь.

А так тебе приходится прятать от нее глаза и лгать. Прятать и лгать.

Так что, если оставить в покое колбасные обрезки, возможное счастье проплывает мимо тебя, раздолбай ты эдакий и амбициозный драндулет.

4

Наше вам с кисточкой, мать Москва-река!

Если повезет, на спуске не будет никого. А добрые студенты с девушками при одном виде Маруси обычно сматываются.

К вечеру холодает. Сесть на гранит, ничего не подложив под себя – застудишься, и здравствуй, дядька-простатит.

Поэтому у Мольера в портфеле с оторванной ручкой лежит «Литературная газета». Не вторая тетрадка, а первая – про то, как писали, пишут и как надобно писать. Про жанры, стили, цитаты, юбилеи, бу-бу-бу. Подстелешь газетку, откупоришь портвейн, и можно приступать.

Холодно на речке.

Собака легла на ботинки и смотрит снизу вверх с упреком.

В глазах Маруси – кисейное небо, которое часто без звезд.

В глазах Маруси отражаются думы электростанции имени интеллигента Луначарского и пары градирен.

Небо не черное, не темно-синее, а какое-то грязно-темно-оранжевое, как у Мунка.

Жаль, Маруська, я не служу при кухне! Например, в «Белграде».

Мне жаль, что я там не сушеф и даже не какой-нибудь третий повар. А то таскал бы объедки пожизненно. И были бы мы вечные друзья. Пока бы у тебя не выпали зубы – собаки умирают первыми.

Но если всю колбасу отдать Марусе, чем закусывать? За-

греметь с язвой в больницу? Спать после укола лицом к стене? От ухода до прихода сестры со шприцем?

В Боткинской больнице инфарктники под ручку с язвенниками идут курить на лестничную клетку. И курят, зажав желтыми пальцами сигареты. Все они пока еще живые, обнадуженные. Глядят, как дети, замороженно, на мелкий снег и физкультурную Москву.

Черное зеркало воды перед тобой, Мольер.

Еще пару бульков, и можешь озвучить свои тексты. Для кого? Да хоть для вон тех поздних уток, для дворняги Маруси. Давай, расскажи им: когда, с какого момента твоя жизнь полетела кувырком так, будто кто-то выписал ей пенделя? Не с похода ли на Павелецкий вокзал, куда тебя сдуру понесло добавлять?

По ночам в буфете вокзала опрометчиво наливали белое сладкое, опасное, как тротил. После одного стакана освежает, но в голову уже закрадываются игривые смыслы. После второго – рожа багровеет, через все щели ползут серые туманы, проникают в извилины.

Однако у него по-другому вышло.

Свет мольеровского разума быстро одолел туманы, поскольку его голова озарилась идеей.

И он, держа в правой лапе стакан вина, левой подцепил сосиску и, забравшись с ногами на скамью, обратился к пас-

сажирам со следующей волнующей речью:

– Граждане славного града Камышина! Выберите меня своим мэром! И я построю вам, екарный балет, столько бань, гальюнов и пивных, что вы сами удивитесь! У вас больше не будет времени слать друг на друга доносы! Обижаться на власть! Потому что все вы, включая местных дармоедов, проходимцев и ублюдков, возьметесь за руки в едином хороводе. И будет вам счастье: с утра в магазин, после обеда за пивом, а там уже и вечер, за водкой пора! Не об этом ли вам мечтается, ничтожные хомяки и обалдуи?

Некоторые граждане сразу проснулись, спрашивая оратора: какие же мы хомяки? Мы какой ни есть русский народ! Поезда ждем. Братцы! А кандидат в мэры случаем не еврей? Посмотрите на его бакенбарды – те же пейсы, на этот шнобель и наглые зенки! Бывают ли такие кандидаты в мэры города Камышина?

Другие, напротив, не обиделись, даже заулыбались. Особенно женщины. А двое соколов из фальшивых казаков оставили баулы, расправили лампасы на мятых штанинах, отняли у Мольера сосиску и стали его мудохать. Измудохали страстно, азартно, от всего патриотического сердца, разбили нос и губу.

Скорая помощь не повезла раненого в больницу, а благородно отдала его ментам. Там посадили кандидата в обезьянник, добавили ботинками по ребрам и написали на работу.

Поэтому из редакции журнала «В строю», куда Мольера и так едва приняли из-за пятой графы, его теперь выгнали в пустоту Москвы. К такой-то бабушке. И как бы по собственному желанию.

Другими словами, словно сам Мольер пришел к главному редактору, красавице смолянке, и сказал: Галь, а Галь, ты не поверишь, но у меня открытие.

– Какое же, Игорь?

– Понял я вдруг, Галя, что существо я никчемное, ни к чему не пригодное. Разве что ездить в «Метрополь» за берлинским печеньем для коллектива. Что-то во мне надломилось, ничего толкового для журнала я больше не напишу, деньги мне не нужны, так что увольняюсь по собственному!

Мольер мог бы поклониться издателям журнала, который они выпускали по тьме в неделю. И молвить слово покаянное:

– Братья и сестры, спасибо, что за мою предвыборную речь на вокзале не стукнули выше, а сами разобрались. Слава Творцу!

Но одна служивая дама, оторвав ничем не примечательную попку от стула, одернула юбку и озвучила слово, идущее из глубин ее комсомольского сердца.

Она молвила:

– Только падшая личность, вроде вас, Игорь Соломоныч, способна в пьяном виде издеваться над советской демократией в зале ожидания честных людей. Ну, ничего. Ты, това-

рищ Коган, начнешь жизнь заново. Поезжай на Север, к якутам и оленям.

Хорошая, между прочим, была идея.

Из мест отдаленных – если не сожрут волки и ты не схватишь сифилис от жены оленевода – товарищ Коган точно вернулся бы другим человеком. Причем заново уважаемым человеком и не таким говнюком, как сегодня. И стал бы жить в просветленном сознании пользы и даже некоторого величия.

Мольер иногда встречается эту даму в арбатской поликлинике, в очереди к врачу.

Она отводит взгляд.

Она хромает в женский туалет.

Там она стоит со сложными чувствами перед зеркалом и смотрит на свое отражение.

Потом сопит и тупо глядит на кафель, сидя на унитазе. Она думает, не стукнуть ли еще раз на сволочь жидовскую.

Но нет уже ни сил, не желания.

Все испарилось.

И боевая мысль, которая едва зародилась в голове, плавно перетекает на тазик с ромашкой для ног, а оттуда на герань подоконника с видом во двор.

Осталось две сигареты. Одну можно выкурить, глядя, как таксисты на той стороне реки высаживают людей к поезду «Москва – Одесса». Он как раз полвторого. Как цыганки пристают к женщине с пакетами. Как офицер уговаривает девицу, а она не хочет идти.

Можно смотреть на тот берег, пока башни вокзала не расплавятся в твоих зрачках. Не осядут в грязные воды реки. Или тебя не сломает ледяной уют города перед закрытием метро.

Тогда и собака Маруся вылезет из-под твоих рук и поковыляет в сторону теплотрассы.

А другую сигаретку оставить на ночь.

Для побудок в такое время, когда в мире, кажется, уже ничего не бывает. Кроме светлячка на макушке МИДа, тумана да твоей рожи в окне.

Из-за нервов придется снова в мусорное ведро за окурками. Тьфу, зараза! Они обычно между очистками и обертками маргарина.

Окурки сына дворничихи, Мустафы, «Прима». А если повезет, и – о-го-го! – толстенькие окурки Тортиллы. Это всегда Pall Mall из валютного магазина, с золотым ободком, запахом нездешнего мира и следами губной помады. Из темно-зеленого мира, в который не пускают без чеков и заграничного паспорта.

Мольер, Беломор, Джано и Гамаюн – вот наша команда. Экипаж подводной лодки, которая могла бы и не всплывать, так бы и бороздила зеленые глубины. Искателей приключений, бабников, но поклонников старухи с рубинами на перстах – нашей Москвы.

Мы ходили в одну школу, сбегали из нее в «Художественный» посмотреть один и тот же фильм «Семеро смелых».

Или шли на Большую Калужскую, где тетка Беломора завивала других таких же теток, как овец на закланье. Кажется, это называлось перманент.

Мы брали в долг у тетки, никогда не отдавая, и топали в «Авангард».

«Авангард» раньше был красивым храмом, пережил Бонапарта, но большевики купол снесли, сделали Горный музей, а потом кино. Но и кинотеатр они тоже потом разрушили ради метро.

Нас потом раскидало по всей Москве.

Гамаюн кончил «Щуку», жил в общеаге, получал кое-какие роли – то в массовках, то в театре.

Джано – хотя опальный абстракционист и скандалист – по службе делал всякие идейные скульптуры, и у него водились деньжата.

Грехопадения уводили нас к пивным автоматам. Бросил

монету – получай полкружки мутной бурды, еще монету – полную кружку, а бурда уже с пеной. Пили «Ячменное».

Всякий раз, опуская нос в эту пену – похожую на мыльную, когда мама стирала солдатам, – я думал: Мольер, почему ты так себя не уважаешь? В Елисейском можно купить «Мартовское» или «Портер». В гостинице «Москва» водятся «Московское». А если доехать до парка Горького, можно взять чешского и креветок.

Но нет! Нас несло в убогую дыру, очередь в которую тянулась на весь переулок.

Восемь кружек на столе, по две на брата, хватаем первые, стукаемся: за тебя, за него, за нас!.. Мольера отлучили от котла? Не о чем жалеть!.. Первые кружки – залпом до дна. Вторые – вприкуску под сосиски с горошком.

Джано рисует мужика, сидящего на чемодане у подъезда с голыми ягодицами: это ты, когда тебя выгонят еще и из дому.

Он подзывает уборщика, мужичка с вороватыми глазами кота, сует ему деньги:

– Друг, сгоняй за одной!

– Может, сразу две? А то будет, как в прошлый раз.

– Ну, две!

Джано, зажав сигарету в углу рта, продолжает рисовать, где-то прожигает бумагу, размазывает пальцем шариковую

пасту, рука его быстра.

Гамаюн с подоконника повторяет роль:

– Массы! Слушайте Подсекальников! Я сейчас умираю. А кто виноват? Виноваты вожди, дорогие товарищи!

Мужики по соседству поворачивают к нему головы.

– Подойдите вплотную к любому вождю и спросите его: «Что вы сделали для Подсекальников?» И он вам не ответит на этот вопрос, потому что он даже не знает, товарищи, что в Советской республике есть Подсекальников. Подсекальников есть, дорогие товарищи. Вот он я.

– Так! Стоп! Ты кто такой, на хрен? Чего несешь?

– Вам отсюда не видно меня, товарищи, – продолжает Гамаюн. – Подождите немножечко. Я достигну таких грандиозных размеров, что вы с каждого места меня увидите. Я не жизнью, так смертью своею возьму. Я умру и, зарытый, начну разговаривать. Я скажу им открыто и смело за всех. Я скажу им, что я умираю за... что я за... Тьфу ты, черт! Как же я им скажу, за что я, товарищи, умираю, если я даже предсмертной записки своей не читал?

– Я его знаю, он из «Московского глобуса»! Эй, парень, как тебя там, иди, по сотке накатим!

Аплодисменты. Гамаюн кланяется, выпивает.

Курят, ерзают, галдят. Над столами плывет дым, как над окопами.

Уборщик сбился с ног. То стол прибереи, то кружку разбили, то за пол-литрой. Пиво кончается. Везут? Везут! Везут?

Да кто знает, когда его привезут! Скорее, к утру.

Свет из оконца преломляется в стекле кружек, падает на лица. И мы – будто подневольные, каторжане голимые.

Джано Беридзе делает последний набросок: наш стол в образе «Титаника» тонет, а мы сидим с кружками на корме, обнявшись. Лучше него рисует только Боба, но Бобу в «Яму» часто не заманишь.

С улицы слышно: играют на трубе.

Для Джано труба – это глас божий.

Для Беломора – война, которой он сыт по горло. Вадик о ней писал свои репортажи, а в награду получил осколок в задницу. И теперь он считает свою жопу метеоцентром: ноет рана – изменится погода.

7

У Мишки Гаманухина прогон «Самоубийцы», он играет Семен Семеновича, а изо рта несет пивом. Как играть, если ты пивной бочонок? Разве бочонок это Подсекальников?

Джано считает, что возможен такой Подсекальников, который собирался на тот свет, револьвер достал, но не смог пальнуть в себя и от страха надулся пивом.

Но у Эрдмана такого нет.

– Не писал он это, – спорит Беломор, – даже близко ничего, ясно вам, поросята коломенские?

Так что, если Гамаюн попадетя на глаза главрежу Друж-

ниной – а это уже будет не в первый раз, первый раз было, когда он хотел сыграть пьяного Хлестакова! – его выгонят.

Дружнина – женщина незамужняя, сугубо разведенная, зовут Алла Егоровна, не пьющая из-за печени, – она унюхает. Не выгонит, но временно отстранит, да еще перед гастролями, что для Миши не легче.

Гаманухин не первый, на кого Дружнина положила глаз.

И это не означало повышение актерской ставки и поблажки. Наоборот, на репетициях суший ужас и нервотрепка.

Прежде Гаманухина в «Московском глобусе» служил Дима Заяц, на которого Дружнина обрушила женское чувство. А у Зайца в Минске жена в мюзик-холле да четверо по лавкам. Зазвала его домой на Каретный, до утра провозились, не вышло. И где теперь Заяц-то? Пробовался на других подмостках с ролями второго плана. Дружнина позвонила кому надо, что сказала, неизвестно, но Заяц исчез.

Актеры привыкли, что она не выходит на сцену во время репетиций. Сидит в полутемном зале под настольной лампой, текст листает и оттуда покрикивает. Но как только утвердили Гаманухина на роль Подсекальникова, стала топтать к сцене.

Она подымалась, тихо матерясь и перебирая артритными ногами, обнимала Гаманухина за плечи, как Крупская пионера, и держала речь.

Что такое Семен Семенович, каково в данной сцене Семёну Семеновичу, в чем гротеск, философия и даже придурь

этой славной роли. А вот почему Гаманухин не играет, а бормочет слова, как на читке?

Персонал замирает. Музыканты уходят курить.

– На сегодня всё. Гаманухин, простите, но из вас такой же Подсекальников, как из меня княгиня Морозова!

Но предлагает повторить сцену еще раз и еще.

А у двери гримерной склоняет к Мише буйную голову в овечьих кудрях, жарко дышит, шепчет нетерпеливо:

– Вечером что делаешь? Приходи ко мне на Каретный! Давай утку зажарим, что ли? Придешь, Миша?

И жарят.

Гаманухин без понятия, как жарить. Но Джано его научил.

Джано сказал, что цельную утку, если запечь, то сумеет еще ее на столе эффектно разделить ножницами, чтобы не выскальзывала. Не проще ли сырую? На шесть кусков расчленил пернатую, посоли, поперчи, не жалея кориандра, на противень ее, обложи размоченным черносливом с потрохами – и в духовку. Можно с кислым яблоком. Перед такой румяной вещью не только Дружнина, но сама королева Англии дрогнет и быстренько произведет Гамаюна в рыцари.

Сначала наслаждение утятей, водка, водка, за здоровье, за театр, а уж потом – охи да ахи среди кружев, седьмой пот, обещанья к утру, что сделает Гамаюна ведущим, лучшие роли отдаст и никому не позволит пикнуть.

Огонь-баба!

Потому что она, Дружнина, и есть театр «Московский глобус!».

Но однажды Гамаюн не сдержал слова, загулял, а на прогоне возник похмельным и трясущимся, как бобик. Мишкина карьера могла закончиться в одночасье.

Так что у Белорусской Джано разворачивает пакетик из фольги, там мускатный орех, зерна кофе:

– Пожуй, брат!

Гамаюн жует обреченно, брови домиком, глаза, как у волка.

Он скорбно так жует эту горечь, глядя на корзину гвоздик у ног продавщицы.

Ноги полноватые, в дешевых чулках, сидят в полусапожках, которыми она стучает друг о друга нервно. И тоже смотрит на Мишку, улыбается: может, узнала? Да, видела на сцене. Поэтому нате-ка вам, господин актер, красную гвоздику бесплатно. У нее стебель сломан, все равно не продать.

Очень кстати сунуть Дружниной в качестве отмазки.

Только мы, трое его друзей, понимаем, что он уже въехал в образ.

Он еще на Белорусской, возле метро, но уже раздавлен жизнью двадцатых годов, он уже несчастен. И в первом акте ему придется попрекать жену ливерной колбасой.

– Пошел я, – говорит Гамаюн.

– Ну, иди, Мишка, удачи!

– Вадим, ты со мной?

– Я с Миленой договорился, повидаюсь с сыном. А вы с Джано продолжите? Его же Мариико убьет.

– Э-э, слушай, что говоришь, брат! Пусть еще Мариико найдет меня, тогда и убивает!

8

Москва как кошка. Если ее часто дразнить, может так куснуть, что потом долго болит, и нюхаешь запах йода из-под бинта. А бывает, стелется, трется о ноги, дает понять – хоть вы придурки и пьяницы, да всё ж свои. А с чужими вмиг бы разобралась.

Она чувствует в нас своих, потому что дала нашим отцам нас зачать. Кому в отпуске, кому – после, когда уже отодрали светомаскировку.

Москва распахнула для наших матерей Грауэрмана, где мы появились на свет. Один Джано – на берегу моря, под шелестенье пальм.

Москва терпела самокаты, на которых мы грохотали по дворам.

Лечила окна от рогаток.

Прощала, когда мы ломали сирень, таскали букеты матери, потом девчонкам.

Она не запирала подъезды. И если опаздывали на послед-

нее метро, пускала, давала погреть пальцы о батарею, погладить бездомную собачонку, прикорнуть с нею до утра.

Она стала жестче, когда резанули по живому Зарядью. По старым кварталам Арбата. Разворотили Дорогомилово.

И пока мы с Джано бредем по Страстному к Чистым прудам. А быстро не получается, у Джано травма ноги с детства. Да, так вот, пока мы бредем, Москва не опрокидывает на нас небеса потоками. А только орошает лица бисером. Как, наверное, в Лондоне, где мы еще не бывали, а только читали у Диккенса Чарльза.

Москва стелет по асфальту туман, как ковровую дорожку в купейном вагоне.

Молочно-серые полосы ползут вдоль тротуаров, а под фонарями делаются соломенно-желтыми.

Джано бы их написал, если б за такие картины платили. Понемножку, бывает, и платят, но на выручку не прожить.

Лучшее у него растеряно, погибло в Битце под бульдозерами. Да только ли у него? Остальное сгорит под минами на войне. Вместо дома родителей будут развалины, вместо мастерской – воронка с ржавой водой.

С одной скамейки на другую – беспечно, бесстрашно, лукаво.

От фонарей желтый свет, с неба пыль дождя, под фонарями круглые пятна.

– Я почитаю тебе Шаламова.

– Нет, Игореша! Давай еще по глотку?

– Да, да!.. А потом ты Табидзе прочтешь.

– Я бы лучше Александра Казбеги, по-грузински, но ты услышишь. Бухло осталось? Давай по бульку... Так, стоп! Я сказал, по бульку, брат, а не по полбутылки!

После второго портвейна Джано признается, что его тоже обещали уволить. По его эскизу отлили из бронзы Ленина, а кепка похожа на открывашку. Но при чем тут скульптор, если у мыслителя такая голова? Разорвут договор, заплатят ерунду.

А Марико в долгах.

Марико не просто в долгах, а в карточных. Уходя на игру, клянется, что отыграется, ей Джуна предсказала.

Она заводится за столом. И так радуется даже пустяшной комбинации, что всё видно на лице. Плохо для покера.

Марико играет с опасными людьми – директором продмага, ювелиром и вором в законе. Почти под крышей высотки на Котельниках.

Она возвращается подавленная, с отрешенным лицом и пустыми глазами. Ее даже не надо спрашивать, как дела, и так ясно: продулась. И каждое утро Джано утешает жену. Наливает из заначки Johnnie Walker, красный лейбл. И каждое утро она ему говорит:

– Ну, сука я, сука! Прости, зря тебя не послушала! К этим

козлам больше ни на шаг! – А вечером снова: – Ненаглядный, милый, любимый! Дай хоть пару сотенных в последний раз! В самый распоследний! Очень тебя прошу!

У Джано Беридзе водятся деньги, потому что ему платят за монументальное искусство. Но он месяцами не слышит от жены ничего, кроме «дай денег».

– А не позвонить ли Беломору?

– Других идей нет, Мольер? Вадик с женой разводится.

– Радость какая! Поехали! А то они драться начнут!

В будке телефона девушка с футляром скрипки. Кричит в трубку:

– Ты же обещал!.. Можно в Гольяново у подруги... Может, на Бауманской, у выхода? Где «Союзпечать»... метро еще ходит... Ну и вали на фиг, козел!

Бухается на скамейку, в слезы.

– Как вас зовут?

– Серафима. Короче, Сима. – Хлюп-хлюп! – Ыгы! Вам это, мальчики, может показаться странным. И не модным даже.

– Ну, почему, – возражает Джано, пытаясь закурить. – Типа, и шестикрылый серафим на перепутье мне, это самое, явился. Правильно, Игорь?

– Ну да. Хотя у Пушкина серафим шестикрылый, но вообще-то он двукрылый. Есть такой чин среди ангелов.

– А что вы тут мокнете, как гуси, джентльмены?

– Автомат двушку сожрал.

– У меня тоже первую сожрал. Поэтому я, знаете, что делаю? Я наменяю в метро несколько штук, на всякий случай, и хожу.

Утерла слезы, уже не плачет.

– Серафима шестикрылая, сыграй нам что-нибудь!

– Прямо здесь?

– Конечно, что хочешь!

– Ой, не знаю даже! Ладно, кусочек из Брамса.

Вынимает скрипку, дотрагивается до струн смычком – даже Москва замирает, стихает капель из водостока.

Выпиваем по глотку.

– Поехали с нами, – говорит Беридзе.

– Да вы что? Куда? Меня из общежития выгонят!

9

Милена уходит от Беломора. Она бродит по квартире, собирает чемодан, бросает туда одежду, как в плохом индийском кино. Вадим сзади, пытается вставить хоть слово, но куда там. Она говорит без цезур и знаков препинания.

– ...меня мама давно предупредила что от такого мудака ничего хорошего не жди ну и что я только жду Вадик когда ты припрешься откуда-нибудь среди ночи бухой как верблюд после шнапса и думаешь мне не противно что у тебя Вадик то спички с телефонами девиц то платок кружевной то пре-

зеватив б-р-р-р ты падаешь на дно жизни Вадим и когда ты вдруг надеваешь свитер который ненавидишь а у тебя на шее засосы я не знаю как мне с этим жить отвечай подлый засра-нец!

Беломор ходит за ней по пятам с бутылкой пива, едва успевая вставлять в поток сознания реплики, как вехи:

– А собаку куда? Ты об этом подумала?

– Собака едет к маме Жанне! Дакота, ко мне!

– Нет, ко мне! Дакота, скажи, кого ты больше любишь?

Пожилая собака сопит тяжело, переводит влажные глаза с Милены на Беломора.

– Пишущую машинку тоже заберешь?

– Оставляю тебе на память, говнюк! А «Историки Рима» мои! Так что читай свои «Былое и думы», набирайся ума, ешкин кот!

Именно в этот момент появляемся мы: то есть я, Джуно и случайная Сима со своей скрипкой.

– Вадим, – кричит Милена, – это ты на прощанье мне подстроил? Невыносимо!

– Это не я, это Мольер!

– Игорь, ты? Пьяные рожи! Из-за вас, алкаши проклятые, даже не разведешься по-человечески. А что это за балерина, мать вашу?

– Извините, я не балерина, я музыкант, меня Серафимой зовут.

– Ага, ага...

– Милена, прекрати, мы христиане, мы обязаны! Гость в доме – мир в доме.

– О! Тоже мне чукча нашелся! У нас скоро будет МУР в доме. Ты гостей назвал, а еду купил? У нас в холодильнике дубль пусто!

– Не надо лгать, дорогая! А сырки?

– Я тебе больше не дорогая, а сырки собака съела!

– Собака?..

– Собака.

– А вот я позавчера две котлеты принесла из кулинарии! И где они? Одна – морковная, от язвы, думала, тебе на утро...

– А я думал, тоже Дакоте... Ладно, шестикрылая, снимай куртон, будешь помогать. У нас праздник развода.

Серафима чистит картошку, жалуясь Милене на жениха:

– Я ему говорю: Егорий, если ты сомневаешься, давай вместе к врачу ходим. У меня-то пока ничего!

Милена жарит котлеты. Вокруг вертится собака.

– Как я тебя понимаю!

– И не говори, сестра! Дакота, я тебя кормила!

Собака воеет:

– У-у-у! Вэ-о-о-о-о!

– Вон, иди к Беломору! Пошла вон!.. А давай, пока они не видят, по рюмашке?.. Дакота, куда колбасу-то схватила? Уши оборву!

- Все-таки мужики – полные уроды, да?!
- А то! Бум! Ой!.. Закуси хоть яблочком!

Милена выходит в комнату, руки в боки:

- Вадик, кого-то еще ждем?
- Мишка обещал заехать после спектакля.
- Охренеть!

– Джано, братишка, присмотри за этой психопаткой, чтобы она не свинтила. А то кому посуду мыть?

– Пошел к черту, Беломор! Я уже не твоя психопатка!

– А чья, чья?! Вот ответь мне, что ты имеешь в виду!

– Тс-с-с! Ребята, тише вы! Полпервого ночи! Соседей разбудите! Мы с Игорем пойдем Мишку из театра встретим. И еще одну достанем, я знаю где.

Беломор служил репортером в газете, а Мила на «Мосфильме», и мы собирались каждую субботу. Тогда я изобрел блюдо «Пельменная лазанья». Короче, этот ком из начинки и теста я разрезал на коржи, перекладывал сыром, похожим на замазку для окон, и зажаривал в духовке. Неплохо шло под винцо!

Я тогда работал помощником печатника в типографии. Катал рулоны килограмм под триста. Печатник, семейный козлодой из Мневников, заправлял бумажную ленту в ротационную машину, выпивал чекушку и спал в раздевалке. Я

вместо него фрезеровал печатные формы из какого-то сплава с цинком. Однажды зевнул, поздно схватился за рычаг противовеса, и мне фрезой чуть не отрезало четыре пальца. Вовремя увернулся, но фреза все же вошла в ладонь.

Выписываюсь из больницы, у Беломора новость: едет на войну, пробил командировку от газеты. Главный редактор не разрешил, Вадик поперся к маршалу Ахромееву, упал в ноги: Сергей Федорович, разрешите в район боевых действий!

Мы его отговаривали: мог вернуться в гробу. Но вернулся со свинцом в жопе. Беломор ездил на рейды с разведчиками, писал репортажи в газету. Они прославили его на всю страну. Однажды ехал на броне, снимал видео, повстанцы засадили ему пулю. Выстрелили из винтовки времен Бурской войны, но пулей такого калибра, что Беломор удивлялся, как ему еще не оторвало яйца.

Мы об этом знали, но он не написал жене о ранении, застрял в госпитале, подхватил там дикий менингит, а менингит дал осложнение на кровь.

Война крепко ломанула его. В Москве вместо книги о войне он люто запил, а после запоя, русской бани и молитв засел за пьесу.

Милена родила сына.

А теперь вот она уходит к родителям. Насовсем.

Именно в эту странную ночь.

В которой туман сменил дождь, а потом воду прихватило морозцем, и случился гололед.

В которой уже были Чистые пруды, бухло «Молдавское крепкое» и стихи, которые читал Джано Беридзе по-грузински.

И туман, и дождь, и лед, и шестикрылая Серафима, которую бросил помощник машиниста метро Егорий, и скрипичная соната Моцарта, и фонари.

10

Горят свечи, Милена на диване под пледом. В ногах собака. В изголовье чемодан. Она осталась до утра.

Вадик читает нам свою пьесу «Капкан». Вокруг него разбросаны читанные листы пьесы. Джано слушает, прислонясь к тахте, на которой ворочается Милена. Изредка она открывает заспанные глаза и в паузах произносит:

– Бред, бред, бред!

Мы с Гамаюном сидим на ковре, зажав в лапах рюмки.

Занавес! Джано наполняет стаканы.

– Пьеса гениальная! Вадик гениальный! За Беломора!

– Да, супер, – говорит Гамаюн. – Вадик, я покажу эту вещь в «Московском глобусе»! Сыроедова я сам бы сыграл. Но можно позвать Борисова!

– Думаешь, он не откажется? А Василису может сыграть Цареградская.

– Цареградская на съемках в Ростове.

– Ладно, за нас всех! Вадик, дай я тебя поцелую! – Чмок! –

Ух, дорогой!

– Да, Вадька, у тебя там все видно, как в кино! Поехали, чин-чин!

– Мольер, ты не мог бы отодвинуться от Серафимы? И убери лапу с ее коленки!

– Это разве твоя девушка, Гамаюн? Твоя? Я тебя спрашиваю! Шестикрылая, скажи ему, чья ты девушка.

– Прекратите, мальчики, иначе я уйду! Мне у вас нравится, но я уйду! Можно я сяду возле тебя, Милена?

– Перестаньте, черти! До дна!.. И ни капли врагу!.. Курить охота!

Милена приподнимается с дивана: я вам, кошкин бантик, покурю! Здесь ребенок спит!

– Мила, но Ежик у мамы!

– Ну и что? Ты, Беломор, козлина, алкаш ненасытный, на нас с ребенком давно забил! Тебе наплевать?

– Мила, прекрати!

– А ну-ка, вон отсюда, пошли на кухню! Все, все! Пока я вас дальше не послала!

Кухня едва вмещает нас.

Форточка открыта, за ней идет снег. Хлопья крупные, кружатся медленно.

Я раньше думал, что такой снег бывает на открытках с видом Кремля. Или у Андерсена. Улочка, крыши, Санта-Клаус, девочка греет ладони спичками, в окнах елки, господу кушают гуся, фаршированного фуа-гра с каперсами, кислым яблоком и тмином. А девочке не дают.

Форточка узкая, и мы по очереди вытягиваем шеи, чтобы выдохнуть дым после затяжки.

Все знают правду, министерство культуры не даст поставить спектакль об одиночестве солдата, который вернулся с востока. А война не отпускает солдата ни днем, ни ночью. Ведет к развалу жизни. Он пьет, от него уходит жена. Война ведет к самоубийству, но потом его спасает новая любовь.

«Капкан» не берет ставить ни один театр.

И когда Вадик мечтает, что когда-нибудь пьесу запустят на всех подмостках страны, что он разбогатеет, добьется, чтобы Милена прекратила смотреть на него как на пьяного ублюдка, – мы улыбаемся, поддакиваем, киваем. А что делать?

– Я, – говорит Беломор, – в доску разобьюсь ради сына. – Он еще не знает, что сын не от него.

Полумрак висит в передней вместе с шубой Милены и нашими пальтецами из фальшивого сукна.

– Так, значит, остаемся по углам до первой электрички? Чайку?

– Чаю? Какого чаю? Мне бы еще глоточек, – говорит Га-

маюн.

Беломор неуемен:

– И все-таки как вам текст, мужики? Да или нет? Говорите честно, гады! Джано? А тебе, Мольер? Гамаюн?

– Кончай ты рефлексировать, Вадик! Всем нравится! Я бы это сыграл!

Милена теряет терпение:

– Это невозможно! Невыносимо! Вы дадите поспать женщине, ублюдки, мать вашу?

Мы уляжемся, когда совсем рассветет и дворник начнет скрести лопатой.

Мы уснем, когда среди синей мглы возникнут фигуры женщин в нелепых беретах, с толстыми ногами в меховых сапожках. Очертания мужиков во всем черном и ушанках набекрень – будто они идут не на работу, а напрямик в ад, и в аду как раз такой дресс-код.

Когда утренний мильтон прошуршит на своем узике в сторону станции и рынка – ловить лимиту без прописки, алкашей с орденами и без, торговок квашеной капустой и хрумкими чесночными огурцами.

А еще позже, когда совсем рассветет, Гамаюну приснится Голливуд, мне – отдельная квартира, Беломору – премьера, а Джано – выставка в Париже... Когда откроются пивные, принимая дрожащих от холода похмельных мужиков...

В этот час жена репортера Вадика Беланского поднимется с дивана, заберет Дакоту, шестикрылую Серафиму со скрип-

кой и навсегда уйдет из квартиры Беломора.

11

Пока соседка варит наркомовские рожки, можно перекинуться парой слов.

Общение способно растопить сердце праматери. И, может быть, она не станет снова попрекать меня то уборкой коридора, то бумагой для туалета. Или будто я стырил ершик для унитаза, чтобы мыть бутылки.

И я начинаю светскую беседу в том духе, что, не правда ли, тетушка Алтынкуль, гречка лучше серых макарон, рожек или ракушек? Гречку можно прожарить на сковороде, а потом сварить. Так моя мама делала.

Глаза соседки – голубая Азия с морщинками возле глаз. Будто какие-то речушки хотели впасть в большую реку, но передумали, не впали и пересохли. Последний раз речушки были полноводными, когда зарезали ее мужа и семья переехала в Москву, к обрусевшей родне.

Праматерь смотрит хмуро.

– Х-р-р, гречка! Конечно, лучше, когда крупы есть. Нынче с крупами плохо. Беда с крупами. Я бы сказала, полный триндец с крупами! Интересно, куда смотрят Всевышний и Мухаммед, пророк его?

Тетушка Алтынкуль не называет меня Игорем. Что Игорь,

что Коган – режет ей слух. Прозвище Мольер ей тоже не по душе.

Она долго думала. Но как-то раз пожевала травку – мерзость, похожую на болотную ряску, – выплюнула ее в ведро, как корова, и заявила, что будет называть меня Гарифолла. Что значит «покровитель».

Гарифолла?! Да, а что? Ей проще. А для такого типа, как я, даже чересчур благородно.

После прихода от наса – «ряски» – тетушка чихнула и расхохоталась так буйно, что чуть не выронила кастрюлю. Глаза ее разъехались в разные стороны, как у жены Чингисхана перед военными трофеями.

Она показывала на меня кривым пальцем и сотрясалась от смеха. Ее ноздри подергивались, а живот под фартуком подрагивал в такт.

Гарифолла! Чего не потерпишь, чтобы к тебе не лезли с уборкой кухни, коридора и гальяона! Пусть зовет Гарифоллой. Может, даже сексуально, если Гешка с этим согласится.

В одной комнате тетушка прописана, другую они снимают. И хозяйева берут деньги за всё. Не только за метраж и за лифт. Но и за ангелов под балконом. И за березку из-под плиты. И за вид из окна, в котором маячит тополь.

Из-за проклятого тополя Алтынкуль чихает, а у старшего сына Мустафы слезятся глаза. У него слезятся и от амброзии, когда цветет. Но в Москве нет никакой амброзии, толь-

ко в Ботаническом саду. Слава Аллаху! Еще от котов тоже слезятся.

– Так что не вздумай завести кота, Гарифолла! Ять-те заведу! Подам в суд!

– Да я и не думал, тетушка Алтынкуль.

– Смотри мне, шайтан!

Однажды – тоже после наса – она зажмурилась и в полной прострации произнесла вещице слова:

– Когда-нибудь Москва будет столицей мусульман.

Булькают рожки, они едва видны в кастрюле из-за грязно-желтой пены. Такую пену я видел в море возле нефтяных терминалов в Туапсе. Пар поднимается к желтому потолку.

Старуха закуривает.

– Мне, Гарифолла, все равно. Лично ты мне до лампочки. И брату наплевать на тебя, и невестке, и детям. Мы такие. И ты смирись, сынок. Раз к тебе так относятся, значит, этого захотел Аллах. А мы-то при чем?

Аллах иной раз казался мне добрым стариком, похожим на заgrimированного Леонова. Или на Смоктуновского, с его таким таинственным и огненным прищуром, когда он играл короля Лира.

Аллах должен быть, по идее, в расшитом золотом халате, золотых же чувяках, с тубетейкой в изумрудах и в топазах.

Но не на осле.

Любой мусульманин вам растолкует, что это Пророк ездил на осле, осла звали Уфейром. И это хорошо. Потому что лошади во всех религиях напоминают о войне. А ослы, с их овальными мордами, мудрыми глазами и хвостами, похожими на кисти, взывают о мире. Они, в общем-то, до войны просто не добегут.

Еще я думаю, что Аллах живет между вершинами, куда заходит солнце, всем обещает только хорошее и дает в долг без процентов. Не то что Сбербанк. Он в тысячу раз лучше Сбербанка!

Если когда-нибудь Аллах, которого так часто вспоминает Алтынкуль, прибудет на Арбат, то, скорее всего, со стороны Смоленки. Это логично. Аллах может приехать сначала на Киевский вокзал в спецвагоне под охраной всадников в синих чалмах. А на метро до Арбата одна остановка.

Или так доскачут.

Аллах стукнет посохом по нашему линолеуму поверх заплеванного пролетариатом паркета. И обратится к матушке Алтынкуль на древнеарабском:

– Все, мне надоело! Москва надоела, тень Чингисхана надоела, вся эта ваша высокомерная азиатчина, ваша неопрятность в доме и мыслях! И кончайте, ничтожная раба Алтынкуль, дребендеть, будто мести двory суждено лишь иноверцам!

На моих девушек тетушка Алтынкуль реагирует болезненно. Крайне болезненно. Почему? Кто знает. Возможно – но маловероятно! – она забыла себя чернешенькой девушкой из далекого аула. Или аила? Выщипывала волосы на ногах, подводила брови сурьмой. Гадала на жениха с подружками. Не выходила за ворота без чадры.

А может, ее злит, что мои девушки часто звонят. И навещают меня с подарками – кто с говядиной на мозговой косточке, кто с картошкой и свеклой для винегрета, кто с майонезом, кто с курой или колбасой.

Всего-то за предвыборную речь на вокзале – уволили из редакции, и я третий месяц без работы. Третий месяц чай с хлебом на завтрак.

На обед – консерв «Борщ украинский» за два пятьдесят. Вывалил его в кипяток, через пять минут можно приступать. Даже без сметаны – ништяк! Можно с кефиром. И уж с батоном «Столичным», натерев его чесноком, – изыск.

Мне нравится хлебать этот борщ, даже помимо рюмки, приставив табурет к подоконнику. Правда, от пара иногда запотеваает окно. А зимой, когда темнеет рано, становится видно в окне твое отражение с ложкой наперевес.

Неподражаемый образ.

Если подступает икота, можно спросить в паузе самого се-

бя: что там за обросший чувак, на лбу кудри, на затылке грива, хоть заплетай в косичку, на носу под очками глаза блудливого сатира? Неужели это ты, Мольер? Охренеть! Надо же, какой величественный! А шнобель – такие надо еще поискать.

Понятно, почему на меня увлеченно смотрят кадровики. Даже не сразу паспорт просят.

– Так что вы умеете делать, Игорь Соломонович?

– Я умею жить. Шутка.

– Я тоже. Шутка. Нам нужны испытатели бумажных мешков. Оплата сдельная.

В тот же день выдали робу, наполнили мешок мукой, включили хронометр, и я понес. Тяжелый, сука!

Пять секунд, полет нормальный. Десять секунд – мешок лопается, мука высыпается на голову. Весь в муке, будто в киношном снегу, как беглый муж Снежной королевы.

Начальник же, увидев меня жопой на полу, молвил, успокаивая:

– Ничего, бывает, товарищ Коган! – И с гордостью, свойственной рафинированным мудакам, прибавил: – Ведь мы испытатели, друг!

Фырс-мурс!

Под душем, смывая с себя тесто, я думал, что лучше служить жареным пончиком, невзирая на риск, что тебя съедят девушки. С точки зрения пончика, приятнее быть съеден-

ным прелестной девушкой, чем вонючим бомжом, закусывающим водку.

Лучше бы я пошел в криптозоологи.

Вот занятие для дона и кавалера, салат-мармелад! И как престижно!

Криптозоолог свидетельствует о том, чего не видел никто и никогда. Его работа – научно доказать, что и снежный человек, и чупакабра, и лох-несское чудовище существуют.

Но в криптозоологи меня не зовут.

Арбатские бомжи – те самые, что закусывают водку пончиками и шпарят наизусть Баратынского, – приглашали на охоту за пустыми бутылками. Они называют себя батлхантерами, но это, наверное, у меня еще впереди.

И вот Мольер после рабочего дня пребывает в законной нирване, слушая восьмую Малера по транзистору, как раз уже вторую часть, перед самой модуляцией, когда из коридора доносятся голоса:

– Алтынкуль Салмасовна, вы уверены, он дома?

– С утра не выходил, товарищ Румянцев.

Стук в двери.

– Гражданин Коган, открывайте, это участковый!

Мольер вылезает из нирваны.

И вот они за столом.

На столе фуражка лейтенанта, по козырьку ходит муха.

Перед участковым заявление, написанное круглым почерком тетушки Алтынкуль.

Лейтенант декламирует челобитную негромко, но с выражением, выделяя особо возмутительные места. Но места как-то не выделяются.

Мольер под это монотонное чтение сразу воображает степь в ожерелье гор, кибитку, посреди нее очаг, на котором варится здоровенная мостолыга – барана или сайгака.

Тетушка, вся в монистах и серебре, помешивает варево палкой, сыплет травки, пробует черпаком, жмурится, чмокает губами.

Вокруг копошатся дети, хватают косточки и глодают, как собаки. На матрасе спит пьяный муж.

Топот копыт, в кибитку входит Румянцев в латах, с луком и стрелами за спиной, волоча за шиворот несчастного Мольера, как кота.

– Мать Алтынкуль! Пойман на границе стойбища, стервятник! Доил молодую верблюдицу и пил ее молоко! Это надругательство! Кошелек пуст, ни одной таньга! Вместо таньга – какие-то листки со стихами. Как обычно, выколоть глаза и отрезать язык?

– Зачем же? Заковать, дать лопату, пусть копает арык с другими рабами! Бездельник!

Муха стартует, жужжит и перелетает на портрет Б. Па-

стернака.

Лейтенант провожает муху тяжелым отеческим взглядом.

Через приоткрытые двери видно круглое лицо Алтынкуль с выщипанными бровями, в румянах, с волосами, крашенными то ли хной, то ли басмой.

– А вот вы спросите, спросите у него, товарищ Румянцев, где работает этот сын шакала! Ничего не делает, только баб водит! И вино пьет! После баб повсюду тампоны валяются, даже перед моей дверью, и волосы в моей хлебнице. А после Когана возле унитаза лужа!.. Вот скажут – интеллигенция?! Какая от нее польза? Никакой!

– Лжете, я работаю испытателем мешков!

– Тише, Алтынкуль Салмасовна, я с вами позже побеседую.

– Я вам так скажу, товарищ Румянцев! Я хоть и дворник, но я женщина достойная! Меня дома весь кишлак уважал!

Муха с Пастернака совершает отважный перелет на кейс лейтенанта, бродит по нему, нюхая старую кожу.

Милиционер молниеносным движением бывалого кота убивает муху, щелчком сбрасывает ее с ладони.

Поймав на себе восхищенный взгляд Мольера, он объясняет:

– Вице-чемпион Долгопрудного по боксу. – А поскольку Мольер не сводит с участкового глаз, добавляет негром-

ко, отряхнув фуражку и нацепив ее на голову: – Она под дверью стоит, подслушивает. А ты, Игорь, съезжай-ка отсюда, парень. Ну, поменяй свою комнату в центре на большую в Медведково. Чем скорее, тем лучше. Эта соседка житья тебе не даст.

Вот и докажи, Мольер, что ты не тунеядец!

Криптозоологом еврею стать почетно, но не получается.

А испытателем мешков быть трудно, хотя и не стыдно. Поскольку лицо и шея – то в муке, то в цементе. А иной раз в кожу впивается стекловата, и чешешься по ночам, как пес. Но ты все равно ходишь на эту работу, как проклятый.

Ты пилишь через сонную Смоленку до метро, спускаешься к поезду, едешь до конечной. А у выхода ждет фургон, похожий на автозак, чтобы отвезти таких же придурков за Кольцевую автодорогу, почти в Мытищи.

Тебя всего-навсего заставили уволиться из редакции за предвыборную речь перед избирателями. В нетрезвом виде. За что казаки из города Камышина тебя и потрепали. А других негодяев выпустили из тюрем, из колоний досрочно или в срок. Их нигде не принимают, они никому не нужны. Они даже не умеют расписаться грамотно, написать письмо маме, а не то что писать рецензии о кино. Гордись!

И там, в пустом и почти заброшенном цеху... С воронами Корзона под трухлявой крышей, их попеременным карка-

нъем, как у Хичкока, лежит на полу стопка бумажных мешков.

Возле столика мужиков поджидает начальник испытательной службы.

– Так, пацаны! Сегодня носим в мешках металлическую стружку, потом удобрения! Пока не свалимся! Обед полвторого!

Хорошо, что мешки не со взрывчаткой.

13

Зато в моих девушках знает толк Тортилла.

Она эксперт по моим девушкам.

Она взирает на них с печальным спокойствием, как мать Тереза на блудниц, и все они для Тортиллы – загадочные нимфы.

Она выплывает из своих покоев в коридор с осанкой отставной фрейлины. Листает записки. Они у нее под серебряным зажимом – ладошка на сердолике.

– Извините, не хотела беспокоить, мистер Коган. Вы, очевидно, утомились. Издалека ли прискакали, сударь? Меняли лошадей в Смоленске или так доехали?

– Софья Аркадьевна, сироту обидеть всякий горазд.

– Не стройте из себя сироту, вам не идет.

Так, как она, не спрашивают. Она даже не спрашивает – она вопрошает, воздев руки к замызганному от макаронных

испарений потолка.

Слышал ли я, холоп из колбасных рядов, кто такие ловцы губок? Тортилла их видела на острове Калимнос. И еще на острове Ява, который она называет по-английски – «Джава».

Она и закурить так просит: «Мистер Коган, не найдется ли у вас „Джава“?» А потом щедро возвращает долг «Мальборо».

– Ловцы губок, Софья Аркадьевна, заняты промыслом будущих мочалок.

– А типы вроде вас – ловцы совсем других губок. И кстати, слушайте, ловец губок, вам звонила одна нимфа.

– Гешка?!

– Какая еще Гешка? Фу! Юджиния! – Она Женю Климову Юджинией называет, тоже на британский манер... – Тортилла морщит лоб с досадой. – Хорошо, если настаиваете, пусть эта якобы блондинка для вас будет Гешка.

– Почему якобы?

– Если вы не научились смотреть в корни вещей, то научитесь смотреть хотя бы в корни волос! Они крашенные!.. Однако же оставим в покое Юджинию.

Нет, говорит она, звонила не Гешка. А та нимфа, что запомнилась Тортилле по волосам цвета вороньего крыла. И по запаху Одесской колбасы из сумочки.

Одесскую колбасу, как все местное, считает Тортилла, легко перепутать с Краковской.

– В Краковскую, судари мои, кладут больше чеснока и свинины, а в Одесскую – меньше свинины, больше курицы и селитры. Чтоб краснела. Они бы могли класть в Краковскую меньше чеснока, больше селитры, а в Одесскую – наоборот.

Но в таком случае был бы неизбежен конфликт между колбасниками Кракова и Одессы. Как говорил покойный муж Тортиллы Джек Митчелл, те же яйца, вид сбоку. Он не различал эти колбасы, считая и ту и другую малоудачными для англосаксонского желудка.

Ее муж был американец.

– Значит, эта девочка приходила именно с Одесской колбасой, мэм? У вас нет сомнений?

– Никаких! И оснований для сомнений также нет!

– Получается, это Наташка из ГУМа, отдел шляп?

– О'кей! Кроме нимфы Наташки звонила еще одна престелница, – не унималась Тортилла, вынув из зажима новый листок. – Я бы назвала эту нимфу Синей Курицей С Желтыми Ногами. Что вы тут мне брови домиком строите? Всё именно так, мистер Коган. Не про нее ли вы отзывались, что она, извиняюсь, долбится, как швейная машинка? Это ваши слова?

– Ой, Танька! Думал, вообще больше не позвонит!

– Какая еще Танька? Что за вульгаризм? Она Тания! Почти Великобритания. А вы, негодяй, на следующий вечер варили куру для Юджинии. Вы хоть понимаете, что это без-

нравственно?

– В душе понимаю. Но Гешка пришла с работы, есть хопела.

– И все-таки, мистер Коган! Принесла-то вам крылатую закуску нимфа Татьяна! Сукин вы сын! И когда кура не умягчилась за четыре часа, вы хотели отдать ее собакам. Не помните? Я вместо вас ее доваривала.

– Спасибо, спасибо за всё, Софья Аркадьевна! Что бы я без вас делал!

14

Мы с ней расходимся по своим комнатам. Я вставляю закладку в машинку.

Я дико занят, ё хай ды!

Я пишу рецензии на радио, по 7 рублей за штуку.

Ну, рецензии – громко сказано, такие дайджесты, о чем кино и стоит ли его смотреть. Не больше странички. Но и не меньше, иначе могут снизить гонорар.

Дворники на тротуарных работах. В поле, так сказать, во главе с Алтынкуль. Поэтому, чтобы мне в коридор не бегать, параллельный телефон на тайном шнуре, аппарат под тахтой.

За стеной Тортилла играет гаммы на пианино и поет, не попадая на ноты дребезжащим голосом:

– До, ре, ми... Ми-и-и-и-и!.. Ы-ы-ы-ы!... Фа-а-а-а! Ла-фа-

а-а-а!.. Со-о-ль! Ассо-о-о-оль!.. Но-о-о-о-ль!

Так-так! Сейчас начну.

Тюк-тюк, заголовок: «Машинист».

Сука сигарета, снова погасла. Чирк-чирк. Может, чаю заварить? Это хороший повод для перерыва. Был грузинский, кончился. Может, Гешка принесет индийского. Говорили, индийский дико дорогой, из каких-то верхушек кустов, такие листочки тонкие. Но Индия Советам всегда была должна миллиарды. И отдавала таким диковинным способом.

Ну, ладно, а ты-то, хрен моржовый, все еще хочешь семь рублей?

Тогда пиши!

«Большие перегоны», «Беларусьфильм». Тюк-тюк.

Лента старая, печатает серым, а не черным. И когда каретку поворачиваешь, скрипит, будто врата ада. Но ты представляешь себе на минуточку, что такое врата ада? Может, ты Орфей махровый, который перся в пещеру за Эвридикой? Или Вергилий? Заткни в себе эти вредные фантазии! Кочумай, чувак, как говорят джазмены в «Синей птице», и пиши, пиши, что обещал.

«Эрика» досталась мне давно, от первой жены.

Мы потом прожили с ней годы. Вместо первой жены. Она, в отличие от первой жены, терпела матерщину, но уважала

грамматику и строчила пулеметом, только ленту меняй. Ее клавиши были прокурены, литеры ломались и залипали.

Вместо «о» она печатала «у». И получалось «увущи-фрукты» и «пиву-вуды». Девушкам доставались с утра записки вроде «Устанешься? Пиву в хулудильнике, кутлеты сама пожаришь».

На машинку проливали портвейн и потом ее замачивали в ванной, и это было фантастическое зрелище. Как будто утонул космический корабль и мерцал никелем со дна. Просохнув на батарее, «Эрика» продолжала службу.

При других попытках создать семью – то есть в моменты особой жизненной крутизны – машинка, бывало, совершала полет с девятого этажа на клумбу. И добрые руки мастеров возвращали ей жизнь.

А писчебумага из редакции терпела все.

Еще до крушения буквы «о» «Эрика» печатала. Тук-тук-тук. Часть первая, глава первая... Тук-тук, каретка – вжик-вжик!

Сколько всякой бесполезной чепухи было перестукано, сколько бумаги изведено! Листы с первыми фразами валялись на полу и на диване. Машинка сама будто бы говорила: дерьмо, не продолжай! Не правь фигню, подумай еще, переписывай, не жалея себя! Спасибо «Эрике». Она была права.

Она перепечатывала Мандельштама и опального Бродского, терпела наши пьянки, читки, истерики, гитарные переборы, измены, мордобой и серые рассветы.

В конце концов она осталась механизмом эпохи, в которой уже ничего нельзя изменить.

Из которой почти все ушли.

Кроме нас с Беломором, то есть с Вадиком Беланским. И Джано Беридзе с Мишкой Гаманухиным по прозвищу Гамаюн.

Вот сколько нас было на челне, не считая девушек, свидетелей, ментов, продавщиц винных отделов и ничейной собаки Маруси.

Однако не окончена летопись моя про «Беларусьфильм».

Значит, в главной роли «Больших перегонов» Игорь Шилов. Снова Игорь. Обычный Игорь, но не Гарифолла. И не Мольер. Какой-то другой, но уважаемый Игорь. Проваливает герой в институт, поступает, едрен веник, как положено комсомольцу, в паровозное депо... А тут, конечно, Кузьмич, его играет Николай Крючков.

Почему у них повсюду, во всех картинах – как старый мастер, так сразу Кузьмич и на пороге деменции? Бедный Крючков!

Подмастерье кочегарное делает злобную хрень, пакостит, чуть не ссыт Кузьмичу в шапку.

Подмастерье лагается, как кролик на выпасе у лисиц. Он, засранец, уголь бросает не в топку паровоза, а за окно, устал потому что. Понимаете?

Но Кузьмич-Крючков терпелив, как военный трибунал. Он не лупит новобранца по ушам и не гонит из бригады.

А по-отцовски журит – экий же ты, сынок, право, неловкий.

Приоткрывается дверь, Тортилла зовет на кофе по-английски. Я понимаю, типа, что кофе у нее уже готов, зерна из Италии. Всё – кроме «prevented».

– Мы этого не проходили, мистер Коган. Это означает «мешать», «служить помехой». Идете?

– Только абзац закончу, мама!

– Ах, ах, я понимаю тебя, сынок! Пришло вдохновенье, как к антисемиту Чехову? Муза Ивановна в гостях? Ладно, не злитесь, Коган, вам не идет. Чехов не такой уж антисемит. Не верите – почитайте Чудакова. Давайте, я вас жду на кухне, поспешите, пока наша Алтынкуль не пришла.

Текст бледный, кривой, замазка кончилась, придется забивать. Поэтому не «не гонит нах...», мат уберем, а по-отцовски наставляет ученика. Паровоз ученику пока не доверяют, сидит в кочегарах.

Точка. Абзац.

Вжик-вжик!

Я сойду с ума.

Лучше б я закончил мореходку и отвалил в такое далекое море, куда даже альбатросы не залетают. Где даже гуси разворачиваются, переругиваясь с вожаком, и с полпути всем клином летят домой.

Лучше отвечать на письма в «Юном натуралисте», 20 копеек письмо. Десяток писем 2 рубля. Сорок писем плюс 12 копеек – армянский коньяк. Пятьдесят писем – это уже коньяк с коробкой шпрот, маслом и булкой.

А в таком случае, между прочим, не стыдно и Гешке позвонить.

15

Обычно после этого она облизывается, синичка моя, и спрашивает, улыбаясь лукаво, нравится ли мне? Хочу ли я, чтобы она так делала каждый день? Особенно если мы, например, передумаем дальше дурака валять и подадим заявление? А вообще, это не ради меня, пусть я не думаю, похотливый я поросенок, а для женского здоровья! Мне ясно?

Еще бы! Какой же мужик откажется, если в своем уме? Каждый день?

Но у нас нет каждого дня. И каждого вечера тоже нет.

У нас частые утра.

Она является после восьми, когда трудящиеся печатают шаг на работу. От них пахнет перегаром, одеколоном и потом. Безумная, свежевыбритая и завитая, абсурдная армия труда.

Они не успевают доехать до своих контор и цехов, на свой тягучий «Серп и молот», а у них уже сложное настроение.

Поэт Корнилов хотел их приободрить, чтобы пролетарская жизнь не казалась этим людям таким унылым говном, сочинил «Вставай, кудрявая». Ее часто крутят, похмелье вышибает. Впрочем, потом они на Бориса донесли, и Бориса убили, а песню крутили без слов.

Гешка тоже делает вид, что едет на работу. Типа, она тоже в этой армии труда. Но вдруг исчезает с Арбатско-Покровской линии за остановку до пересадки на Останкино, бежит по эскалатору, ищет монету, заталкивает ее в щель телефона:

– Никуда не уходи, Мольер, буду через минут десять.

– Но Геша, мы не догова...

– Вздумаешь уйти, гад, – убью!

И потом:

– Мольер, не одевайся! – Сбрасывает с ног туфли, они летят в разные стороны комнаты. – И кофе я тоже не хочу. Да у тебя и нет его. Так что я вместо кофе!

И потом:

– Гешка, только не ори, Алтынкуль дома.

– Да хрен бы с ней.

– Софья Аркадьевна через стенку.

Она дышит тяжело, будто с лыжной дистанции.

– Не ври про Тортиллу, я ее у булочной видела!.. А-а-а, ублюдок, сволочь! За что?! Давай теперь ты!

– Я не могу, я сейчас умру!

– Я тебе, засранец, умру! Я тебя из могилы выкопаю и за-

ставлю по новой!

Да что же это!

Старый приемник на окне ловит две станции, поставлен на «Маяк». Чтобы музыка играла, а мы успели до новостей. У нас есть полчаса. У нас железных полчаса.

– Ты меня любишь?

– Я тебя ненавижу! Всегда ненавидела! Просто я временно забыла, как я тебя ненавижу!

– Доброе утро, товарищи! В столице восемь часов тридцать минут. Вдохните полной грудью: вдох-выдох... Поставьте ноги шире...

– Мольер, выруби этих козлов!

– Сама вырубай!

– Я так никогда не кончу, тебе же хуже! Ну, пожалуйста, выключи!

– Хочешь, вместе допрыгаем? Иначе я твое радио в окно выброшу!

– В Брянской области выступили с инициативой...

Мы падаем на пол и катимся по паркету, как два рулона, два снеговика.

Гешка дотягивается лапкой до приемника.

– Давай вместе?

– Да, да!

– Не останавливайся!

– Ни за что! Даже не проси!

– В связи с ранним таянием снега труженики области...

– Ты моя труженица! Ты лучшая в мире труженица!

– Я? Да!

– А ты!

– Мы! Иди сюда!.. Нет, не уходи еще...

– Тебе же на работу!

– А можно вот так с тобой остаться? В тебе. Ну вот! Разве мы не поместимся в мой свитер? Так и пойдем в обнимку на мою работу, кто догадается? Только так ты меня больше не захочешь.

Выдержу, пока она не наденет свое платье в синий горошек.

Тогда комната с чугунным балконом начинает светиться. Все углы.

Потрескивают обои, раскачивается абажур.

Изменяется геометрия, все кружится.

Кружится Гешкина куртка, отороченная кроликом, кепка с пуговкой. Слетает с вешалки и приглашает их на вальс мой плащ, производство Польши, ревнует мохеровый шарф, подаренный мамой еще до Арбата.

Все кружатся.

И, например, поет Синатра. О да!

Тут уж, я думаю, могли бы пожаловать в гости жильцы всех времен. Из доходного дома на Сивцевом Вражке. Именно купец Барашников с женою и тремя дочерьми. Сначала они стоят у двери, смотрят. Дочери застенчиво подпевают Синатре. Они подмигивают мне-плащишке и Гешке-курточке с кепкой в клетку.

Появляются чекисты, пустившие в расход всех Барашниковых и устроившие общагу для московской гопоты. Потом посланник наркома в синих галифе, с женою еврейкой. Полковник, который уложил красногвардейцев в канаве под Москвой.

Пускается в пляс бабушка-лишенка в худом пальтеце с розовым ордером. Она как раз после отсидки в Мордовии, за связь с японской разведкой.

Гешка выходит после душа, умиротворенная, любимая, розовая, волосы влажные и синяк на запястье. Макияж смыт, теперь видны следы фингала.

Это наверняка Лаврентий.

– За что он тебя?

– За все хорошее. Не так повернулась, не так посмотрела.

– Хочешь, я его убью?

– Он сильнее тебя, Мольер.

– Пусть! В горло вопьюсь козлу и кровь выпущу!

Кухня у нас из двух комнат. В одной готовят, в другой стоит общий стол, как в общаге. В углу пальма, драцена двуствольная. К Новому году Тортилла вешает на нее мишуру и единственный золотой шарик, присланный детьми из Швейцарии. Договаривались насчет общего сахара и соли, на столе только соль. Да и то не всегда. Сахар, подозреваем мы с Тортиллой, особенно рафинад, ворует Мустафа, сын Алтынкуль, ему для мозгов надо, он в текстильный собрался.

Аромат кофе просачивается на лестничную площадку и через трещины оконца – на весь Арбат. Тортилла разливает его по чашкам, держится пенка кремовая. Себе она подсыпает корицы, мне – пару капель бренди.

Удовольствие несказанное. Она в Кельне такое пила.

– Вы были в Кельне, мистер Коган? Ах, ну да. Какой Кельн! У вас нелады с нашей советской родиной.

По ее наблюдениям, советской родине вряд ли нужен такой сын. Но и Западу тоже не нужен, там говорят по-английски. И она! Предлагала! Безвозмездно! Только из личных симпатий к похотливому коблу и мучителю мусульманских дворников.

А куда Мольер пошел дальше английского алфавита, который тоже нетвердо знает?

– Вот это какая буква?

– Эта? Кажется, джи, мэдэм.

– Это джей.

Ладно, пусть я допью чашечку мокко, говорит Тортилла, а другой не будет, пока я не выговорю простую англосаксонскую благодарность thank you.

– Ну, давайте, Коган, как я вас учила? Разве вы Коган? Не бывает таких Коганов! Такие бывают Золотаябка! Конь вы тупой и бесконюшенный! Всё, что у вас есть хорошего, – это грива! Я, когда сюда переехала, сначала думала, парик. А может, вправду парик? Разрешите подергать?

– Нет, не надо... Сейчас... Сэнк ю... Ну?

– Нет!

– Да!..

– Нет!

– Но я ведь приложил кончик языка к зубам!

– Коган! Даже афроамериканцы, если захотят, то умеют сказать thank you.

Под второй кофе у Тортиллы пробивается материнский инстинкт.

Она закуривает, улыбается, щурит глаз.

На что Гарри будет жить, если его выгнали уже со второй работы, из журнала «В строю»? Будь у меня сносный английский, она бы поделилась со мной переводами.

– Я вас умоляю, Софья Аркадьевна!

Гуд. Вот она, например, сейчас переводит замечательное произведение: «Особенности эксплуатации газосварочного оборудования в зимний период». Очень романтично.

– Дайте-ка мне огоньку, Коган! Спасибо! Ухф-с-с!

А что умею я, засранец этакий? Может мне, как девушке из приличного дома, научиться вышивать гладью? На блошином рынке расшитые подушки по двенадцать рублей за штуку. На целую пятерку больше, чем мой гонорар на радио.

Мама Тортиллы – мир ее праху в Аушвице – любила до взятия Варшавы положить подушечку под ноги. И слушать Малера по радио.

Но арбатские старики чаще кладут их под голову. Они боятся не злых духов и даже не самого дьявола. Они боятся иллюзий и бессонницы. А без маленькой подушки не уснуть.

А не пробовал ли Гарри продавать рассказы? Ах, никто не берет! Даже «Химия и жизнь», да? Наверное, антисоветчина? В таком случае не желает ли Гарри довести дело до абсурда и накропать порноповесть? На заказ.

Это ведь так романтично – писать и драть. Или наоборот. И денежно. Люди готовы платить. Мольер даже представить не может, насколько востребована такая литература в кругах, близких к Большому театру.

Нет? По-моему, это безнравственно? Жаль. И все же, на всякий случай, если мистер Коган передумает, заказчику

вот что надо.

В любовные отношения валторниста и гримерши вмешивается концертмейстер, пожилой гей с другом, который тоже влюбляется в валторниста. А гримершу соблазняет танцовщица кордебалета.

– Пишите инкогнито, мой друг. Двадцать пять рублей страница. Я – могила. Никто никогда не пронюхает. Вы мне рукопись – я вам наличные, и точка. Даже если станете классиком, это не разрушит вашего величия. А пока ваш талант заставит мастурбировать половину Москвы. Подумайте, скольких несчастных вы спасете от комплекса неполноценности, скольких – от петли или яда!

Когда слушаешь Тортиллу, не замечаешь времени.

Звонок в прихожей прерывает этот моноспектакль.

И вот я уже слышу крик матушки-дворничихи:

– Гарифолла, к телефону! Оглох, что ли, шайтан тебя задери! Кажется, это снова твои друзья-алкаши!

Мне неловко перед Тортиллой.

– Ступайте, Гарри, – говорит она. – Посуду сама помою. Это женская юдоль. Идите, без церемоний!

17

Мишка Гаманухин мгновенно узнается по голосу с хрипотцой.

– Слушай, Игореха, у меня забрали роль Подсекальникова. Дружнина, старая сволочь, сказала, чтоб я катился к такой-то матери. Эрдмана будут ставить без меня. Представляешь? Таня Ахметова, помреж, вступилась, говорит: полно вам! Миша – лучший Семен Семенович, каких я знала. Лучше Евлантьева. Даже лучше Дубакова. А Дубаков – заслуженный РСФСР! Но Таньку тоже послали. Она в слезы. Звал с нами выпить – не захотела. В общем, на хрен театр, на хрен всю эту ужасную жизнь!

И что Гамаюн хочет? Ничего. Говорит, ему осталось сигануть с Крымского моста в Москва-реку солдатиком. Или штопором? Но там уже лед!

– Миша, зачем тебе Крымский? Тогда уж Москворецкий, он нам духовно ближе.

– А Крымский чем тебе не угодил, Мольер?

– Мне мосты нравятся. Мне ты не нравишься, Гамаюн, псих несчастный! Особенно, когда ты треплешься впустую, как енот у лисиной норы!

Интересно, о чем рассказывает енот лисе у ее норы? Наверняка жалуется, поет блюзы и мечтает, чтобы вынесли еды.

Большой Москворецкий был одним из наших любимых. Особенно, когда Утесов пел, что «лучше моста места в мире нет».

Сюда бабушка водила меня смотреть, как на реке трогается лед.

Многие приходили с детьми – так издавна принято на Москве.

Ветер задувал за воротник.

Раздавался отдаленный треск, потом все сильнее, льдины двигались, налезая друг на друга.

А мне мерещилось, что вот так же, как мне на реке, страшно было челюскинцам на льдине посреди океана. Еще страшнее. Страшно и одиноко.

Льдина трещала, а вокруг стояли белые медведи со своими детьми и потешались над челюскинцами. Медведи думали, что челюскинцы не умеют плавать, поэтому и ржали. А они умели. Но все равно бы утонули из-за меховой одежды и рюкзаков. Быр-быр, мур-мур.

Короче, денег нет. У Гамаюна десяток пивных бутылок, и он хочет, чтобы я поскреб кефирных у соседей или банок. Трехлитровые дороже. Сдадим, будет и на выпивку. У Тортиллы только винные. Тетушка Алтынкуль собирает литровые – на маринование каких-то перцев, таких жгучих, что от одного вида может облезть кожа. Но брать у нее чревато...

Мы побрели от Новокузнецкой, ровно калики перехожие, под звяканье стеклотары.

Над нашими головами, над крышами, надо всей Москвой

висело ватное, отвратительного цвета небо.

Пугающее небо. Не серое и не синее.

Джано бы запросто сумел его нарисовать, но был занят.

В данный момент быстротекущей жизни Джано Беридзе стоял в своей мастерской на лесенке с молотком и резцом, размышляя о форме носа Ткачихи номер 3 из скульптурной группы «Женщины революции».

Такие дела.

Ткачиха номер 2 напоминала ему еврейскую царицу. А ему хотелось – грузинскую. Типа Тамары. А что? Нос Ткачихи номер 3 казался ему длинноватым. И ноздри у нее получились чересчур хищные, как у Немайн, богини войны у ирландских гэлов.

Джано думал над этой проблемой, пока над нами с Гамаюном нависали депрессивные небеса ноября.

Меня всегда от такой погоды тошнит. Как бы в Москву вошел Бонапарт, погасил кое-какие пожары, но дым еще стелился по переулкам, и воняло чем-то мерзким. Типа портянки не достигали и повесили сушить.

Вслед за этим террором над всем православным Замоскворечьем посыпал мелкий снег.

Гамаюн, ниже меня ростом, шел обреченно, петушиная грудь вперед. То есть он вышагивал, как ополченец, но вме-

сто карабина держал за спиной сумку, набитую стеклотарой.

Меня же от крепчайшего кофе Тортиллы знобило, будто с похмелья, и сердце отплясывало самбу. Но трясло, думаю, не от кофе, а от водки. Портвейн пить надо вместо водки. От него хоть и желудок сводит да икоты на полдня, зато сердце щадит.

Мишка печатал шаг по снежной жиже и по лужам. По пути мы больше не проронили ни слова. Ни о «Московском глобусе», ни об Эрдмане, ни о Подсекальникове.

Издали до нас докатывались звуки духового оркестра, как морские волны. Впереди были казармы, и там, наверное, уже репетировали ноябрьский парад: бух-бух-бух.

Когда оркестр играет далеко, труб не слышно, лишь басит большой барабан: бух-бух-бух!

Даже колокола церкви Всех Скорбящих Радость не могли заглушить оркестр.

18

Между тем скорбящие радости от сдачи стеклотары стояли в очереди, держа сетки и даже баулы – между тополями, загаженными воронами Корзона.

Птицы и тут преуспели.

Скорбящие радости полных бутылок граждане были преисполнены.

По их лицам гуляли отблески уцелевших листьев конца октября.

Интересно, что в конце очереди глаза у людей выглядели уже потухшими, как свечи на ветру. И это понятно – вдруг не достоинься, и лавка захлопнется перед носом? В середине – лица приобретали осмысленное выражение. А у самого прилавка, отполированного тысячами рук и доньшек, zenки горели угольями.

Поэтому там, у прилавка, раздавались голоса, которые в унылом хвосте очереди воспринимались как сигналы из другой галактики. Из далекого мира, до которого миллионы световых лет:

– Mayday, mayday, mayday!

– Это разве щербинка, товарищ? Побойтесь Бога!

– Сами поглядите, очки наденьте!

– Мусор это, вот чичас поскребу.

– Ну, поскребите!

– А болгарские случайно не берете, женщина?

– В объявлении не написано!

– Ну, и куды ж их таперича? Назад в Болгарию?

– Знаете что, отойдите! Дайте другим место!

Я уже говорил, что по чересчур многим причинам Болгария не может не быть России братской страной! А как назовешься братушкой – сразу наливай, чего уж там!

– Что значит «отойдите»? Я, кудышкина куропатка, у себя дома! Я в эсэсэре или как? Я за эту землю кровь проливал, мля!

– Пошел на хрен, старый дурак! Ты не кровь проливал, а землю помоями поливал, вертухайская морда!

– Да я!.. Да вы!..

– Что? Ты, сука, в тылу наши сталинские сто грамм проливал!

– Уроды! Чтоб вы сдохли!

Тут мужик с порванной сумкой на колесах, которого только что подвергли проклятиям, оглянулся пару раз на Мишку, спустил очки на нос и сказал:

– Слушайте, товарищ! Вы случайно не Олег Даль?

– Я Гамаюн, – ответил Мишка, шмыгнув носом.

– Нет, нет, что вы, Олег Иванович, не стесняйтесь даже, тут все свои, вас все любят, весь народ! И это ничего, что вы с бутылками! Вся Москва стеклотару сдает, вся страна!

– Отстаньте, без вас тошно!

– Но Олег Иваныч, голубь наш, это же вы в «Незваном друге» ученого Свиридова играли, долбаный ежик, а мы с женой плакали?

– Я, – говорит Гамаюн, – играю задницу лошади в цирке на Цветном! Мольер, пошли-ка отсюда ко всем хренам!

– А бутылки?

– Отдай этому фанату!

– Мы же помрем до обеда.

– В Доме актера у кого-нибудь перехватим. У того же Ян-ковского...

– Алик не даст. Или даст, но не мне!

– Возьмем у Глузского! Михаил Андреевич точно даст!

Всегда молодым актерам в долг давал!

– Куда же вы, товарищ Даль? А как же автограф?

Восьмерка еле тащится по Пятницкой. Голос водителя равнодушен и слеп. Как эти окна и тротуары, запертые холодом. Народу в троллейбусе почти никого.

– Следующая – Иверский переулок!

– Так что с работой? Попросишься к Табакову?

– Нет, он слишком ревнивый и капризный. Хотя отличный постановщик. Чутье, как у спаниеля. И всю душу вытрясет.

– Ну, попробуй к Бородину. Там же все твои – и Шкалик, и Серый, и Женька Дворжецкий...

– Не хочу пока об этом, Игорь. Не сию же минуту решать?

– А когда?

– Завтра. Послезавтра.

– После сорока? Ну, тогда заодно подожди, когда пьесу Беломора возьмут...

– А что? И дождусь! Там хоть есть что играть! Там есть

человеческое, Мольер, понимаешь? Там живая боль.

– Следующая – Третий Кадашевский переулочок!

– А давай у Большого Москворецкого вылезем?

– А чего вылезать? Можем и доехать, ноги не казенные!

– Пойдем пешком, Мольер, пусть башка проветрится!

На Большой Москворецкий нас брали салют смотреть. Меня и Мишку Гаманухина держали за руки. Малыш Вадик, тогда еще никакой не Беломор, вырывался, пытался влезть на перила, орал на всю реку: «Мам, пап, где же звезды, ни хера не видно!» – «Тише, сынок!» – «И что у вас за ребенок? Не к празднику будет сказано, что же у вас дома за атмосфера, товарищи, если дитя матюгается?».

– Ты помнишь?

– Я помню, – говорит Мишка, грустно улыбаясь. – Я тебе в тот день отдал танк с погона отца, а ты мне – значок ГТО...

– Не ГТО, а ДОСААФ... И там булавка сзади была сломана... Отпаялась просто... Я все равно хранил долго, на ватке, пока в армию не ушел, потом ремонт делали, потерялся.

Вадик Беланский с Большого Москворецкого моста прыгал голым на пари, чтобы удивить свою первую любовь.

Прямо в Москва-реку.

Был взят водной милицией, сидел трое суток, а мы ему

таскали пирожки, которые Мишкина мама пекла. С мясом и с капустой.

– Ты чего, плачешь что ли, Миш?

– Я?! Ты охренел?! Но, сука, за что они со мной так, Иго-реха? Почему они, чуть что с молодым актером – об колено? Чтоб хребет переломить, и ты уже ни на какую сцену не выйдешь!

– Давай лучше перекурим.

– Не могу я больше курить, Мольер. В театре так накурился, что тошнит. Вот поесть бы.

До мастерской Джано отсюда пять минут ходьбы.

19

Пока мы идем по Солянке, уворачиваясь от машин, которые поливают прохожих жижей на такой дряни, что подметки зиму не выдерживают, Джано держит ответ перед высокой комиссией. Он показывает эскиз памятника пролетариям «Трехгорки». Дирекция желает поставить его перед входом на фабрику. Чтобы ученицы текстильщиц, вся лимита с окраин, столбенели перед величием текстильно-прядельного дела.

На панно в центре могучая баба в косынке, по бокам такие же подруги, ткацкий станок и рулоны ситца. Много ситца. Бабы на фоне рулонов в комбинезонах и блузках.

Дамы из городского управления по культуре помалкива-

ют.

Начальник, похожий на Паганеля, говорит – от имени райкома спасибо вам, Джано Петрович! Но что-то его все-таки смущает. Ну, как бы это сказать мастеру помягче? Бюст текстильщиц нельзя ли сделать немного аккуратней? Пусть товарищ Беридзе не волнуется, это обычное обсуждение! И он пока спрашивает себя, а не Джано: могут ли быть такие груди у женщин, запуганных звериным оскалом капитала?

В камне они уменьшатся, объясняет Джано.

Но дамы ёжатся. Автора они, конечно, уважают, автор заслуженный. Но, кажется, Паганель прав. Нельзя ли молочные железы ткачих отобразить скромнее?

Джано розовеет и переходит во все тяжкие: женская грудь, товарищи, это символ изобилия, незыблемости, непоколебимости советского строя! Это наша гордость, такая же, как холмы Сталинграда.

А почему текстильщицы в кирзовых сапогах? Ах, это хромовые? Символ крепости и проходимости по дорогам страны? А почему не в обычных туфлях? Вот Паганель видел на ВДНХ такие милые модели. С такими, знаете ли, Джано Петрович, медными пряжками. Как у венецианских купцов.

И насчет материала. Понимает ли Джано Петрович, что скульптурную группу откроют к юбилею революции? Бетонные носы кажутся недолговечными. Могут отвалиться. Не махнуть ли нам на мрамор? Ни в одном районе Москвы из мрамора ничего не ставят. Экономят.

– Деньги найдем! На увековечивание не жалко. Или лучше гранит?

– С ним работать тяжело.

В общем, пусть мастер думает.

20

Тяжел обед Беломора.

Члены его бывшей семьи едят суп из клеток, и Вадим мучается.

Целиком клетку проглотить не получается – велика, а когда жуешь, она растягивается, как запаска для велосипеда, и страшно подавиться. Вадик режет ее ножом.

С высокого стула за ним наблюдает сын, которому Беломор подмигивает, а мальчишка улыбается, лупит ложкой по супу, как веслом по воде, брызги в разные стороны.

Жанна Константиновна неуступчива и строга.

– Что значит – видеться с сыном? Объясните мне, я не понимаю! Сыну видеться с кем? С таким отцом? – Она тычет пальцем в сторону Беланского. – Это отец разве?

Милена пытается вступить:

– Мам, не надо!

– Что «мам», что «не надо»? Выбрала алкаша с амбициями.

И Вадик чувствует, как внутри него раскрывается некое жерло, под которым гул, всё дрожит, скоро затрясется, уда-

рит, грохнет, зашипит, и начнет извергаться лава.

Он это по войне знает. И ребята рассказывали. Перед боем страшно. Но когда побежали, все равно – солнце не солнце, пыль не пыль, рожи не рожи. А приходишь в себя верхом на враге, нож в его горле; из горла, пульсируя, вытекает черная кровь, а ты выплевываешь на траву кусок его уха вместе с серьгой.

– Жанна Константиновна, может, не надо бы так?

Теща не унимается:

– А все-таки почему, товарищ Беланский? Кто вы, собственно, такой? Князь Киевский?

– Я журналист.

– Журналистов нынче пруд пруди! У вас мания величия!

Вы, товарищ Беланский, алкаш и бездельник!

– Но вы недавно называли меня сыном...

– Плевать! Я думала, вы станете мне сыном! А вам по правде никто не нужен: ни моя дочь, ни наш Кирилл.

– Это мой Кирилл, мой Ежик!

– Нет, это наш Ежик! Видеться с сыном, ха-ха! А чему вы его научите? Лакать водку? Кокаин нюхать? Лгать женщинам, обещать и скрываться?

– Мам, перестань, иначе мы с Кириллом!..

У Беломора складывается в голове: недотраханная корова. Будь ты старухой, а я Раскольниковым, треснул бы по башке!

Но озвучивает он другое:

– Я вас также, Жанна Константиновна, слушать не желаю.

Я пришел договориться, по каким дням можно гулять с Кириллом, только и всего.

И снова:

– Вы, товарищ Беланский, детерминированный люмпен. Вы довели мою дочь до полоумия. А она, тихая овечка, вам верила, товарищ Беланский! Вам! Мерзкому типу с нездоровыми фантазиями! Был бы жив ее отец... Ах, Мила! Здесь, в квартире, ощущается присутствие старика, и как ему всё не нравится! Друг Фадеева и Буденного. Этот дух мог бы пропитать мальчика!

– Дух лошади Буденного, что ли?

– Не ерничайте, Вадим Григорьевич! Дух правды вольется в него, сделает сыном родины!

Милена то вскакивает, то садится, мелко кивает, наморщив нос.

Беломор чувствует, как к горлу подступает тошнота. Ему давно не нравится, как Милена морщит нос. Как бульдог на прогулке. А когда не хочет тебя слушать, приспускает веки, как сонная ворона.

Кирилл улыбается, глядя на бабушку.

Вадим уходит в туалет, у него приступ рвоты. И оттуда он слышит, как в кабинете лучшего друга Фадеева и Буденного звонит телефон.

Он еще не знает, что это мы звоним ему из автомата.

После похода с Джано на рынок один чурек мы употребили на улице, два других еле донесли.

В мастерской всё яркое, изумрудное, желтое, палевое, оливковое.

На столе, заляпанном краской, пятнами канифоли, фло-мастерами, Джано раскладывает дары Цветного бульвара.

Он разделяет куру на сациви, Беломор перемальвает грецкие орехи на мясорубке для соуса и для пхали, я варю шпинат.

Гамаюн режет сулугуни, раскладывает на блюде с пучками зелени.

Беридзе, с розовыми от вина щеками, ходит вокруг стола, каждого обнимает за плечи, за каждого тосты поет.

– Царская закуска! – восхищенно говорит Гамаюн.

Трескают за обе щеки.

– Нет, – возражает Джано, – если царская еда, то у Церетели. Ему всё из Грузии самолетом возят, да столы человек на шестьдесят. Мужик добрый, хлебосольный. И живописец недурной, но Бог не дал меры. А когда нет меры, приходит дьявол, и прямо из головы вылезают монстры.

Джано мог бы и резче сказать, но не дает профессиональная солидарность. И все-таки трудно представить, как из почтенного академика вылезают монстры. И потом, если чест-

но, они в каждом живут. В нас тоже живут, как солитеры. И не дергаются, пока велишь им сидеть смиренно.

Льется тяжелое вино из кувшина в кружки, стаканы, чайные чашки, во что под руку попадет.

Медное солнце тяжело блестит между спицами колеса обозрения, опускается за министерство обороны: хлоп – и нету его. Только свет темно-оранжевый плющится, превращается в блюдце с краской, бросает отсветы на стремные воды Москвы-реки.

Курить к лифту? Или на крышу? Да поздно уже. Ничего для нас пока не поздно! На крышу!

«Что сказать вам, москвичи, на прощанье...» – это на той стороне двора у кого-то Утесов из радиолы. И дочурка Эдит Леонидовна хриплым голосом отца подхватывает: «Доброй вам ночи, вспомина-а-айте нас!».

Мы видим это, мы слышим это с крыши. Наевшись так, что больше не лезет, мы курим и молчим перед этим увяданием меди и превращением в школьные чернила.

Звонок в прихожей звучит резко, это Марико пришла.

Джано вразвалку идет встречать.

Из прихожей – там висят шляпы, шинели, пальтишки, ободранные боа, кроличьи палантины, куски бархата, ситца, муара, шелка цвета киновари, как для театра, – вот оттуда слышно одного Джано. Пока еще по-русски.

А она отвечает, наверное, шепотом.

– Гуляем... Есть хочешь?.. Нет, погоди, Марико, какое такси ждет?.. Сколько?! Ты с ума сошла!.. Все потратила?.. Да как же можно, мячик драный!.. Но я же вчера тебе как бы...

И дальше по-грузински, все громче, крещендо, с визгом, ором, топтанием по полу – ужасная полифония.

Входная дверь хлопает с такой силой, что с полки падает гипсовый Сократ и летит на пол, как в медленном кино. Его подхватывает и ставит на место Беломор.

Входит Джано, щеки белые, зрачки черные, глаза в одну точку, он еле владеет собой.

Сейчас ему ничего не нужно говорить. И уходить нельзя. И не уйти нельзя. Ему нужно побыть одному.

Он раскладывает для нас по пакетам еду – курятину, сыр, овощи, хлеб.

Он сопит, подавляя в себе ярость.

И нам нечем его утешить: все знают беду с его женой. Карты отравили ей кровь, изуродовали судьбу, опустили, а могут приподнять за шиворот и швырнуть в пропасть.

Несчастливая красавица Марико.

Мы рано или поздно уйдем из мастерской; Джано останется один и станет слушать сердце до утра: пара микроинфарктов у него уже была.

Его снова начнет душить бессонница, припоминая прошлые обиды, подбрасывая тревогу за мать и отца.

Он встает, ищет сигареты. И курит на балконе со стаканом «Саперави».

Оттуда ему видна темнеющая, бесконечная и равнодушная Москва. Шумит отдаленно, мигает огнями.

Я знаю, Джано сегодня потеряет счет времени. В итоге он напьется, станет звонить друзьям в Тбилиси. Он начнет кричать на телефонисток, чтобы выплеснуть негодование из-за жены по-грузински. В самый сладкий для друзей час сна – пять или шесть утра – он примется обнимать их словами, не ожидая и даже не желая ответа. И друзья, освободившись от рук и ног своих жен, будут хрипло и невпопад советовать: да, конечно, это уже чересчур, давно пора с этим разобраться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.